

Семиотика культуры и феноменология страха (к постановке проблемы)

Михаил Лотман

Dept. of Semiotics, University of Tartu
Tiigi St. 78–310, Tartu 50410, Estonia
e-mail: mihhail@chi.ee

Abstract. The semiotics of culture and the phenomenology of fear. In the paper fear is treated as semiotical phenomenon. The semiotical speciality of fear is that while being a strong semiotical factor, its semiotical nature is often overshadowed and fear is treated proceeding from the scheme of stimulus–reaction. In the paper fear is analysed in the context of both Peirce’s semiotics and Saussure’s semiology and it will be demonstrated that these approaches allow to open up different aspects of fear: while in Peircean perspective frightful evokes fear, then proceeding from the Saussure’s approach we could say that fear creates the frightful, fear appears to be creative; we could even speak of fear as semiosis.

0.¹ Опасности, подстерегающие исследователя, занимающегося проблемами семиотики страха в культуре, образуют широкий спектр, располагающийся между полюсами метафоризма и редукционизма. Впрочем, нередко эти противоположности сходятся и метафорическая трактовка знаковых процессов в культуре сочетается с публицистической прямолинейностью выводов. Позволю себе воспоминание личного характера. После просмотра “Соляриса” Тарковского, заканчивающегося сентенцией о том, что спасение не в страхе, а в стыде, не имеющей прямого аналога в

¹ Настоящая публикация представляет собой вводные части исследования семиотических механизмов страха в русской культуре, первый вариант которого был зачитан на конференции “Sémiotique de la peur dans la culture et la littérature russes”, в Сорбонне (Париж IV), 27.03.2001.

повести С. Лема, но демонстрирующую несомненное знакомство с публикацией о семиотических механизмах стыда и страха (Лотман 1970), Ю. М. Лотман был одновременно и польщен, и смущен, поскольку интерпретация его концепции в качестве глобального проекта спасения человечества представлялась ему опасным упрощением.

Наиболее разработанные подходы к проблеме страха предложены в рамках философских и психологических (в первую очередь — психоаналитических²) исследований. Закономерные, по-видимому, в рамках соответствующих дисциплин, они с точки зрения семиотики культуры представляются одновременно и редукционистскими, и метафорическими, поскольку нередко основываются на механическом перенесении характеристик, приписываемых отдельным личностям, на всю систему культуры в целом. Существует очевидная опасность использования семиотической терминологии лишь для “декорации” соответствующих построений. Во всяком случае, автор настоящей работы не готов обсуждать проблемы соотношения страха бытия и страха небытия в русской культуре (например, интересного, но никак не проверяемого мнения, что в отличие от “нормального” страха небытия, в русской культуре преобладает страх бытия), или рассуждать о кастратическом комплексе, якобы присущем русским в особой мере³. Хотя нельзя не отметить, что в страхе бытия и кастратическом комплексе может быть выявлено некое общее

² Традиционный психоанализ связывает страх, в первую очередь, не с агрессией, а с неудачами и аномалиями в сексуальной сфере (характер связан при этом варьируется: в одних вариантах неудачи являются причинами страха, в других — его следствиями); страх противопоставлен удовольствию. Для целей культурологического анализа более продуктивным представляется юнгианский подход к страху как к результату неосознаваемого узнавания образов собственного или коллективного бессознательного.

³ В подтверждение этого мнения можно встретить ссылки на скопчество — явление, столь же в мировой культуре уникальное, сколь и характерное именно для русской культуры. Представляется, однако, что типичность и распространенность скопчества сильно преувеличивается — оно носило маргинальный характер. Когда же, например, русская революция и весь коммунистический проект трактуется в терминах коллективного самооскопления, то эту трактовку следует признать сугубо метафорической, причем предлагаемая метафора ничуть не лучше любых других. Кроме того, следует иметь в виду, что скопчество не выводится непосредственно из кастратического комплекса (во всяком случае из его трактовок у классиков психоанализа). Скорее всего, здесь дело опять-таки идет лишь о манипуляциях со словами, а не о реальном анализе механизмов глубинной психологии.

основание, совершенно непонятно, как такого рода утверждения могут быть эмпирически проверены — в отличие от человека, культуру нельзя уложить на кушетку психоаналитика.

1. Прежде чем говорить о семиотике страха вообще, не говоря уже о семиотике страха в какой-либо конкретной (например, русской) культуре, следует задасться вопросом, является ли страх знаковым образованием, или, по крайней мере, обладает ли он семиотической спецификой; иными словами, может ли страх считаться “законным” объектом семиотического рассмотрения⁴. Ответ на этот вопрос совсем не очевиден.

Поучительно в этом смысле обратиться к истории становления оппозиции *смешное/страшное*, в современных обществах, являющейся чуть ли не культурной универсалией, однако неизвестной многим архаическим культурам — трагедия всегда старше комедии. Оппозиция эта явно асимметрична, ее члены обладают принципиально различной природой. Если юмор присущ лишь человеку и может быть в какой-то мере некоторым высшим приматам, то страх является одной из базовых эмоций у животных всех видов, способных испытывать эмоции. Не вдаваясь в детали теории юмора, можно утверждать, что смешное возможно лишь на фоне страшного⁵, в то время как страшное в смешном не нуждается, оно, по-видимому, коренится в инстинк-

⁴ Хочется дистанцироваться от сравнительно распространенной точки зрения, высказывавшейся, например У.Эко и рядом французских исследователей, согласно которой семиотика (подобно, например, философии) характеризуется не особым предметом, но исключительно методами исследования, и поэтому она с равным успехом может рассматривать как знаковые, так и незнаковые по своей природе феномены: знаковость не дана a priori, но есть результат семиотического анализа.

Семиотика — эмпирическая дисциплина, занимающаяся рассмотрением структуры семантики и условий функционирования различных знаковых образований. Действительно, подобно тому, как любое взаимодействие физических тел может рассматриваться с точки зрения действия закона всемирного тяготения, и семиотический аспект можно выделить в каких угодно явлениях и процессах; тем не менее, в столкновении космических тел и соприкосновении танцоров балета соотношение гравитационных и знаковых механизмов является принципиально различным. Если страх удастся свести лишь к комплексу психо-физиологических факторов, то о культурологии или семиотике страха можно будет говорить лишь в метафорическом смысле.

⁵ Подчеркнем, что речь идет о смешном лишь в контексте оппозиции *смешное/страшное*; принципиально иной характер смешного обнаруживается в оппозиции *смешное/серьезное*.

тах (например, в инстинкте самосохранения; по Хайдеггеру страх связан с самой основой бытия⁶). Далее, хотя юмор и не сводим к рациональным схемам, многие его формы “замешаны” на логике, другие же тесно связаны с языком и т.п.; на этом фоне особенно заметна внелогичность и бессловесность страха⁷. Показательно и то, как оппозиция *смешное/страшное* нейтрализуется. Наиболее распространенной схемой представляется редукция страшного в смешное, причем дело может идти как о нейтрализации страха юмором, так и о смехе как результате разрядки страха, причем сопровождается это всегда какой-либо формой рационализации последнего (по крайней мере его вербализацией и, как правило, также нарративизацией), прояснением ситуации (по принципу: “когда поняли, что это было на самом деле, долго смеялись”). Значительно реже наблюдается противоположный процесс перехода смешного в страшное, причем в таких случаях дело всегда идет о дерационализации, примитивизации и автоматизации смеха, отделении смеха от юмора (например, у Гоголя, Салтыкова-Щедрин или Леонида Андреева). Еще важнее то обстоятельство, что юмор имеет выраженную культурную окрашенность, часто — национальную специфику, в то время как о страхе этого сказать с такой же степенью определенности никак нельзя.

Итак, словосочетание ‘семиотика страха’ представляет собой по меньшей мере проблему, даже целую совокупность проблем:

(*) Является ли страх знаком? Если да, то, во-первых, какова семиотическая специфика этого знака; во-вторых, что

⁶ В русском переводе говорится не о страхе, а ужасе (например, Хайдеггер 1993: 20 и след.); для наших целей разграничение страха и ужаса не представляется существенным, тем более, что хайдеггеровское противопоставление страха и ужаса может быть передано по-русски и используемой нами оппозицией *истуг/страх*. Следует также учитывать, что Хайдеггер выступает здесь в качестве последователя Кьеркегора, а в переводах последнего говорится именно о страхе; ср. хотя бы следующие пассажи, по духу весьма близкие Хайдеггеру: “Ничто. Но какое же воздействие имеет ничто? Оно порождает страх” (Кьеркегор 1998: 143). “Если мы теперь спросим, каков объект [...] страха, здесь как и прежде придется ответить, что таким объектом является Ничто. Страх и Ничто постоянно соответствуют друг другу” (Кьеркегор 1998: 191).

⁷ Ср.: “Ужас перебивает в нас способность речи. Поскольку сущее в целом ускользает и надвигается прямое Ничто, перед его лицом умолкает всякое говорение с его “есть”” (Хайдеггер 1993: 21). Т.о. по Хайдеггеру страх относится к до- или внезнаковой сфере. Трактовка страха как тяги к изначальному Ничто близка Мандельштамовской формулировке: “Паденье — неизменный спутник страха, И самый страх есть чувство пустоты” (1912).

является его значением и, в третьих, какого рода объекты обозначаются этим знаком?

(*) Если же страх не знак, а значение, то, во-первых, что является знаком этого значения, а, во-вторых, обладает ли это значение какой-либо спецификой?

(*) Если страх не знак и не значение, а следствие некоторой знаковой деятельности⁸, то что это за деятельность и как страх связан с ней?

(*) Является ли страх кодом или сообщением? Можно ли говорить, о языке, дискурсе и тексте страха?

Все эти вопросы должны быть если не разрешены, то по крайней мере осознаны и сформулированы, в противном случае все рассуждения о семиотике страха могут оказаться беспредметными. Прежде, чем пытаться ответить на поставленные вопросы, следует хотя бы самым поверхностным образом остановиться на некоторых проблемах семиотической теории.

2. *Семиотика.* Существует две основные семиотические традиции, первая из них восходит к идеям Ч. С. Пирса, вторая — Ф. де Соссюра. Различия между этими традициями представляются столь значительными, что в настоящее время не приходится говорить не только о каких-либо перспективах синтеза между ними, но и о возможности простого взаимопонимания между исследователями, работающими в рамках соответствующих парадигм. Недоразумения начинаются уже в сфере базовой терминологии: Соссюр говорит не о семиотике, а семиологии. Мы будем считать эти термины синонимичными, несмотря на то, что рядом авторитетных авторов (назовем хотя бы Э. Бенвениста и П. Рикёра) предлагались различные варианты их содержательного разграничения. Еще хуже то, что различные явления обозначаются одним термином. Наиболее разительный пример — понятие знака: обычно не обращается внимание на то, что Пирс и Соссюр обозначают этим словом не просто различные, но даже несопоставимые вещи. Основная проблематика пирсовской семиотики не уловима для соссюрианского подхода; проблемы же, волновавшие Соссюра и его последователей, подчас бывает трудно даже сформулировать в пирсовских терминах (наиболее добросовестная попытка такого рода содержится в ряде работ

⁸ Т.е. можно ли в духе теории речевых актов говорить о локутивности, иллюкутивности и перлокутивности страха, рассматриваемого в качестве акта?

Р.О.Якобона, но и она в конечном счете сводится к низложению Соссюра и утверждению Пирса); основные семиотические традиции оказываются взаимонепереводимыми. Поскольку в ходе дальнейшего изложения нам придется прибегать как к пирсовской, так и соссюрианской терминологии, необходимо по этому поводу дать хотя бы самые краткие разъяснения.

2.1. *Пирсовская традиция и проблематика страха.* Для Пирса семиотика является новой логикой, включающей и новую систему универсальных категорий, и новую эпистемиологию, и новую методологию науки — вся система знаний имеет по Пирсу знаковый характер. Поэтому в знаках его интересовала в первую очередь их познавательная функция, природа значения, условия становления и функционирования знаков и знаковых образований. Из многочисленных определений знака, данных Пирсом, наиболее широкой известностью пользуется следующее:

Знак, или *репрезентамен*, это нечто, что обозначает что-либо для кого-нибудь в определенном отношении или объеме (2.228; курсив автора)⁹.

Семиотику Пирса можно назвать субститутивной: знак есть нечто, заменяющее и репрезентирующее нечто иное. При этом знак, взятый сам по себе, а priori не обладает никакими признаками знаковости; знаком делает его лишь совокупность отношений с остальными компонентами семиозиса. Семиозис есть система из четырех неизвестных: *знак* (первое нечто), репрезентируемый им *объект* (второе нечто), *интерпретанта* (некий объем или отношение, в котором знак репрезентирует объект) и *интерпретатор* (кто-нибудь). Семиотика Пирса имеет открытый и экстенсивный характер: интерпретанта знака сама является знаком (знак “адресуется кому-то, то есть создает в уме человека равноценный знак или, возможно, более развитый знак” 2.228), этот созданный знаком знак, в свою очередь, сам обладает интерпретантой (которая опять-таки является знаком) и т.д. Любой объект может стать знаком, любой знак может быть объектом для

⁹ В формулировке оригинала репрезентативная сущность знака проступает еще более отчетливым образом (речь идет не об обозначении, а именно о замещении): “Sign [...] is something which *stands to* somebody for something in some respect or capacity” (Peirce 1965-1967: 2.228; курсив мой — М.Л.).

некоторого иного знака, любой интерпретатор может выступать как в роли знака, так и объекта для какого-либо знака.

Вообще говоря, введение интерпретатора нарушает основывающуюся на триадичности логику построений Пирса; в других определениях знака Пирс обходится без него (ср. 2, 274; 6, 177; ср. также 5.484, где Пирс определяет семиозис как систему взаимоотношений между репрезентативом, объектом и интерпретантой). Сам термин ‘интерпретатор’ был предложен позже Ч. У. Моррисом, который существенно пересмотрел пирсовскую концепцию: ввел пятый параметр семиозиса — *контекст*, а объект заменил на *значение* (вероятно, не без влияния идей Г. Фреге¹⁰).

Семиозис (или знаковый процесс) рассматривается как пятичленное отношение — V, W, X, Y, Z , — в котором V вызывает в W предрасположенность к определенной реакции (X) на определенный вид объекта (Y) [...] при определенных условиях (Z). В случаях, где существует это отношение, V есть *знак*, W — *интерпретатор*, X — *интерпретанта*, Y — *значение* [...], а Z — *контекст*, в котором встречается знак. (Моррис 1983, 119)

Причины, побудившие Морриса пересмотреть определение Пирса, вполне очевидны: его интересовала не столько чистая теория знаков, сколько ее возможные приложения в сфере психологических и социальных наук; проигрывая в теоретическом плане пирсовскому, в практическом отношении для анализа культурных феноменов его трактовка знака и семиозиса оказываются более удобными.

Каждый из компонентов семиозиса определяет точку зрения, с которой могут быть рассмотрены различные знаковые феномены; если обратиться к страху, то соответствующие аспекты могут быть выделены примерно следующим образом:

(*) в аспекте V страх может рассматриваться как совокупность различных его признаков, симптомов и обозначений (которые сами по себе могут вовсе и не быть страшными);

¹⁰ Фреге различает знак, его *смысл* и *значение*: значение знака — это “определенный предмет”, в то время как его смысл — это способ представления значения в знаке. “Мы выражаем некоторым знаком его смысл и обозначаем им его значение” (Фреге 1997: 30). В пирсовской терминологии смыслу соответствует интерпретанта, значение — объекту; с точки зрения де Соссюра и его последователей смыслу соответствует означаемое знака, значению — вещь (ср. ниже).

- (*) в аспекте *W* — субъект, испытывающий страх; если его “предрасположенность к определенной реакции”, является чрезмерной, то он имеет шанс быть названным трусом, если недостаточной — храбрецом или безумцем в зависимости от *Z*;
- (*) в аспекте *X* — выявление и фиксация страшных сторон в *Y*, причем, сами рассматриваемые объекты совершенно необязательно должны быть опасными а priori, напротив они могут носить нейтральный характер (так, страх может быть интерпретантой не только хищника или бандита, который атакует интерпретатора, но и, например, результатом химического анализа состава почвы, воздуха или воды; именно такого рода страхами порождено экологическое мышление), или даже чем-то милым (распространенный сюжет в литературе и кинематографии ужаса: игрушка или любимое домашнее животное, становящиеся опасными врагами);
- (*) в аспекте *Y* — объекты и действия, вызывающие страх; при этом не имеет значения, идет ли дело о рационально оцениваемых реальных опасностях, или о фобиях, порождаемыми мнимыми опасностями;
- (*) в аспекте *Z* предметом рассмотрения становятся условия, в которых имеет место страх; особый интерес представляют случаи, когда именно контекст определяет, что является страшным, а что нет (в одиночестве зарождаются одни страхи, в толпе — принципиально иные).

Очевидно, что с точки зрения семиотики культуры наибольший интерес представляют аспекты *X* и *Z*.

2.1.1. Пирс уделяет много внимания классификации знаков, особое значение имеет его “вторая трихотомия знаков”: знаки разделяются на *иконы*, *индексы* и *символы* (2, 247). Не будем воспроизводить логику пирсовской классификации — она довольно сложна и исследователями, чуждыми данной традиции, нередко оценивается с пренебрежительным непониманием¹¹, — для наших целей достаточно упрощенной трактовки. Икон *похож* на объект, субститутом которого он является (2.276), следовательно, вызывающий страх иконический знак сам должен быть

¹¹ Ср. характерный вердикт Э.Бенвениста: “Эта трихотомия — почти все, что осталось сегодня от сложнейших логических построений” (Бенвенист 1974: 69–70).

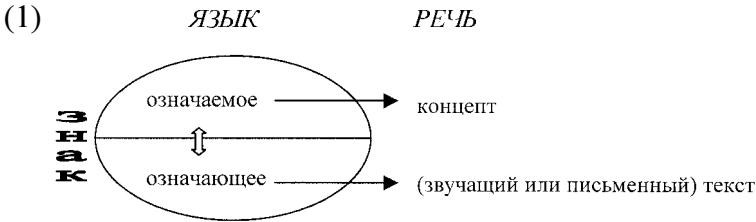
страшным в силу своего сходства со страшным объектом. Индекс основывается на *реальной связи* знака и объекта, в силу которой знак *указывает* на свой объект (2.285–288), так, например, волчий вой указывает на близость волка. Наконец, символ является знаком в силу того, что “он является *правилом*, определяющим интерпретанту”, и далее: “Все слова, предложения, книги и другие конвенциональные знаки суть символы” (2.292; курсив мой — М.Л.). Символический знак может быть связан со страхом в силу условностей различного рода.

2.2. *Соссюровская семиология и проблема страха*. В отличие от Пирса, Соссюр не только не создает универсальной системы, но и какой-либо законченной системы вообще (дело не только в том, что он не успел прочитать объявленный курс лингвистики речи, а прочитанные части не готовил к печати, а в самом характере его *Курса* — даже наиболее разработанные его фрагменты представляют собой теоретические конструкты, скорее иллюстрируемые, чем систематически разработанные). Если Пирс стремится дать своим последователям готовый инструмент, и авторы, работающие в рамках пирсовской парадигмы, в основном заняты либо исследованиями его творчества, либо приложением его идей ко все новым объектам анализа, то Соссюр лишь указывает направление дальнейших поисков, а наиболее значительные результаты, полученные в рамках соссюровского направления, были связаны как раз с полемикой и опровержением едва ли не всех основных положений, выдвинутых великим швейцарцем.

Соссюр разделяет языковую сферу (*langage*) на собственно язык (*langue*) и речь (*parole*). В этом разграничении наиболее существенными представляются два обстоятельства: во-первых, язык является абстрактной системой, воплощаемой в речи, причем в последней лингвистический интерес представляет лишь то, как и в какой мере она реализует структуру языка,¹² во-вторых, только язык является системой знаков. Последнее кажется особенно парадоксальным: произносимые и воспринимаемые речевые сигналы (не только отдельные звуки, но и целые фразы) сами по себе знаками не являются, они лишь репрезентируют

¹² Соссюр заявляет об этом со всей категоричностью: “Что касается прочих элементов речевой деятельности, то наука о языке <как раздел семиологии — М.Л.> вполне может обойтись без них” (Соссюр 1977: 53).

знаки языка. Сказанное может быть представлено в виде следующей схемы¹³:



Непосредственных связей между понятийной сферой и речевой субстанцией не существует, их связывает лишь то, что в них реализуется языковой знак. Мы еще вернемся к обсуждению этого положения, пока же отметим, что центральное место в этой схеме принадлежит отношению, связывающему означающее и означающее знака (впоследствии Л. Ельмслев назовет его *знаковой функцией*). Хотя обычно в сосюрловской традиции термин ‘семиозис’ не употребляется, можно сказать, что именно знаковая функция составляет основу знакообразования, т.е. семиозиса. Такой семиозис может быть назван внутренним, в отличие от пирсовского внешнего.

По Соссюру, связь между означаемым и означающим носит исключительно произвольный (арбитрарный) характер, никакой естественной мотивировки у этой связи нет (Соссюр 1977: 100–102); с другой стороны, она обладает известной обязательностью, во всяком случае, когда дело идет о естественном языке, “человек не властен внести даже малейшее изменение в знак” (101); аналогичную обязательность Соссюр обнаруживает и в знаках других семиотических систем: в пантомиме, в этикете. Это положение даже у самых верных последователей Соссюра неоднократно вызывало недоумение и не раз объявлялось просто

¹³ Любопытная деталь: хотя Пирс постоянно использует термины, имеющие визуальные коннотации (диаграммы как специальная разновидность знака и т.п.), сам он за редкими исключениями (например, в статье “Как сделать наши идеи ясными” (5.388–410)) иллюстрациями не пользуется, предпочитая обстоятельные, постоянно уточняемые формулировки; напротив, Соссюр любит свои подчас расплывчатые рассуждения иллюстрировать схемами и рисунками. При этом, в теории Пирса важное место занимают *иконические* знаки, в то время как в центре внимания Соссюра находятся исключительно знаки арбитрарные.

ошибочным, поэтому важно разобраться в логике соссюрковского построения.

Философской базой Соссюра — никогда не заявляемой и, вероятно, не осознаваемой, но вполне определенной — является платонизм, причем платонизм в строгом варианте¹⁴ (хотя и не всегда последовательно проводимый): язык — это идея, все его воплощения в речи — лишь бледные и аморфные тени. Странное утверждение Соссюра — между прочим, автора блестящих идей в области исторической лингвистики — о неизменности языка во времени и пространстве объясняется именно тем, что язык находится *вне* времени и пространства. Всякие инновации, изменения в значении и/или звучании — суть факты не языка, но речи; если же они утверждаются в качестве нормы, следует говорить не об изменении знака, но о другом знаке (столь же произвольном и обязательном как и все прочие знаки), причем бессмысленно рассуждать о том, который из этих знаков старше — можно лишь зафиксировать факт, что в речи один из них был реализован раньше другого.

Традиционному понятию значения, выступающего по отношению к знаку в роли чего-то внешнего и в той или иной степени навязанного, Соссюр противопоставляет понятие внутренней значимости (*valeur*), определяемое как совокупность внутрисистемных отношений, в которые вступает тот или иной элемент языка: каждый элемент языковой системы возможен лишь в силу того, что он отличается от всех прочих элементов. Совокупность этих различий и образует язык.

В языке нет ничего, кроме различий. [...] В языке имеются только различия без положительных членов системы. Хотя означаемое и означающее, взятые в отдельности, — величины чисто дифференциальные и отрицательные, их сочетание есть факт положительный (Соссюр 1977: 152–153).

Языковой знак является частью языковой системы, он связан многочисленными отношениями с другими знаками, более того, именно совокупность этих связей и определяет его в качестве знака. Таким образом, Соссюр приходит к очередному парадоксу: означаемое языкового знака не мотивируется его означающим и

¹⁴ Сам Платон в посвященном природе языкового знака диалоге “Кратил” значительно менее категоричен.

vice versa, но языковой знак, взятый как целое, мотивируется всей структурой языка (Соссюр 1977: 146–148). Итак, с соссюрианской точки зрения атомарный анализ отдельных знаков — занятие малопродуктивное, нужно анализировать всю знаковую систему в целом¹⁵.

Сказанное представляется особенно актуальным, когда дело идет о невербальных знаковых системах, или системах, надстраивающихся над вербальным языком. Таковы, например, языки различных искусств, но также языки мифов, сновидений и т.п. Одной из важных заслуг психоанализа является трактовка сновидений в качестве сообщений на определенном языке, названном не вполне удачно (из-за возможных ассоциаций с пирсовской терминологией) символическим, а также сближение этого языка с языком мифов и некоторых неврозов (Фрейд 1991, Фромм 1994). Символический язык далек от естественного языка и от языка формальной логики, он не подчиняется законам причинности и пространственно-временных отношений; место внешней логики и основанного на здравом смысле правдоподобия занимает внутренняя логика семантического развертывания концептуальных комплексов, место упорядоченности во времени и пространственной локализации — интенсивность связи (не обязательно смысловой, возможно и звуковой — ср. внимание Фрейда к оговоркам, каламбурам и т.п. — соссюровское понятие знака “работает” здесь явно лучше пирсовского): т.е. чем теснее связаны между собой элементы этого языка, тем ближе друг к другу они располагаются в тексте¹⁶.

Теперь следует задать вопрос, нет ли у страха специфического языкового измерения? В свете сказанного на этот вопрос, вероятно, следует ответить положительно: вопреки Хайдеггеру, страх не только лишает происходящее смысла, но и является исключительно интенсивным генератором смысловых связей; правильнее было бы сказать, что страх уничтожает рациональные связи, но тем более властными выступают иные, им самим и создаваемые. Язык страха ближе к языку сновидений, чем к естественному (вербальному) языку, не случайно, что

¹⁵ Позже аналогичные рассуждения приведут В. Проппа к созданию концепции внутрисистемных функций, инвариантных по отношению к их реализациям в различных текстах.

¹⁶ Описанная Фрейдом логика сновидений оказывается близкой выявленным Л. Леви-Брюлем закономерностям “первобытного мышления”, основанном на принципе партиципации (Леви-Брюль 1930).

скрытые страхи отчетливее проступает во сне, чем наяву; нередко страхи легче переводятся в визуальные образы, чем вербализуются и, подобно сновидениям, страхи в результате вербализации если не уничтожаются, то во всяком случае могут существенно смягчаться (это не касается страхов, вызываемых конкретными объектами или ситуациями — страх высоты или пауков уговорам практически не поддается).

О страхе можно говорить не только как о языке, но и как специфическом механизме семиозиса, но не в пирсовском “субститутивном” смысле, а в духе соссюрдовской семиологии: страх может выполнять знаковую функцию, связывать между собой означаемое с означающим, соединять различные знаки в сложные комплексы¹⁷.

2.3. *Выводы.* Итак, важнейшее различие в трактовке знака у Пирса и у Соссюра заключается в том, что у Пирса знак репрезентирует нечто иное, в то время как у Соссюра сам знак репрезентируется в принципиально от него отличной субстанции. Представляется, что дело не сводится здесь лишь к концептуальным различиям, основоположники современной семиотики имеют ввиду не только различные подходы к знакам, но и различные знаки: с одной стороны, произвольные объекты, в силу обстоятельств оказавшиеся знаками, и знаки *par excellence*, каковыми, к примеру, являются слова естественного языка.

В ряде других принципиальных отношений соссюрдовская семиотика также существенно отличается от пирсовской. В противоположность пирсовской субститутивной семиотике, семиотику Соссюра можно назвать билатеральной: (языковой) знак есть неразрывное единство означаемого с означающим, а не субститут чего-то вне него находящегося. Далее, в противо-

¹⁷ Разумеется, страх является лишь одним из многочисленных механизмов такого рода. Ср. публикации В. П. Руднева о травматическом характере смыслообразования и его остроумные разработки (Руднев 1999а, 1999б и др.). Думается, однако, что сводя всю сферу смысла к травматизму, автор искусственно сужает проблему. Поэтому и заключительный вывод его статьи нуждается в определенной коррективке. В. П. Руднев пишет:

Культура семиотична и с этой точки зрения она действительно “бессмысленна”, но кроме нее никаких иных путей к смыслу мы не имеем (Руднев 1999в: 168).

Если культура бессмысленна, а смысл травматичен, то культура должна быть признана атравматичной — вывод, с которым едва ли согласится и В. П. Руднев.

положность пирсовской семиотике, соссюрская семиология носит замкнутый и интенсивный характер. Пирс пытается втянуть в семиотку как можно более широкий круг явлений, Соссюр же тщательно расчищает площадку будущей науки, его семиология носит принципиально минималистский и системный характер. Системны не только внутризиковые отношения, еще важнее системность межзнаковых отношений, каждый знак характеризуется не только соотношением его означаемого с означающим, но и внутрисистемной значимостью, определяемой всей совокупностью его отношений с другими знаками языка.

С одной стороны, понятие представляется нам как то, что находится в отношении соответствия с акустическим образом внутри знака¹⁸, а с другой стороны, сам этот знак, то есть связывающее оба его компонента отношение, также и в той же степени находится в свою очередь в отношении соответствия с другими знаками языка (Соссюр 1977: 147; ср. также с. 164–166).

Пирса интересует функционирование отдельных знаковых образований (как отдельных знаков, так и целых текстов), в то время как в центре внимания Соссюра находится язык, как генератор таких образований. С точки зрения соссюрской семиологии почти все, чем занимается Пирс, лежит не в сфере языка, а в сфере речи. Высказывалось мнение (особенно энергично — Р. О. Якобсоном), что в то время как Пирс исследует знаки во всем их многообразии, Соссюр, пренебрегая иконами и индексами, пытается все свести к символам. Дело, однако, в том, что и соссюрский конвенциональный знак не может быть идентифицирован с пирсовским символом. Вся пирсовская типология знаков строится на базе соотношения знака с его объектом; его семиозис — это семиозис речевого акта. У Соссюра же языковой знак реализуется в речи. Характер этой реализации Соссюром не раскрыт, это сделали его ученики и последователи: Ш. Балли и

¹⁸ Чтение Соссюра затрудняет аморфность его неустоявшейся терминологической системы, особенно же употребление в его лекциях, в целом антипсихологических по своей направленности, терминов, заимствованных именно из психологии. Так, он неоднократно говорит о языковом знаке, как о единстве понятия и акустического образа и т.п. Вместе с тем, его концепция знака далека от какого бы то ни было психологизма: ср. хотя бы его рассуждения о том, что язык организует мыслительную деятельность, а не наоборот, что нет понятия вне акустического образа и *vice versa* (Соссюр 1977: 144–150); зато его термины 'означающее' и 'означающее' как нельзя лучше передают самое существо дела.

Э. Бенвенист. Она заключается, грубо говоря, в следующем: если знаки языка строятся по принципу их исключительно внутриязыковой мотивированности (и, следовательно, абсолютной немотивированности внешними обстоятельствами), то в речи знаки, напротив, постоянно соотносятся с самыми различными факторами, характеризующими речевой акт: с его временными и пространственными параметрами, субъектом и предметом речи и т.п., — знаки речи являются (внешне) мотивированными: мотивированность кодом определяет их символизм, мотивированность условиями речевого акта (“я”, “здесь”, “сейчас” Бенвениста) — индексальность, сходство с предметом речи — иконизм. Именно поэтому в речи следует говорить не о иконических, индексальных и символических знаках в чистом виде, а о соответствующих составляющих знака. Следует указать, что аналогичные результаты были получены не только в лингвистике; в рамках логико-философской аргументации к аналогичным выводам пришел Е. Пельц, с точки зрения которого корректнее говорить не об иконическом знаке, а об иконическом употреблении знака (Pelc 1986), т.е. иконичность возникает в результате определенной реализации знака, который сам по себе иконом не является. Очевидно, что *mutatis mutandis* это же справедливо и относительно индекса и символа — все они являются знаками речи, а не языка.

Итак, принципиальное отличие пирсовской семиотики от сосюрловской семиологии заключается в том, что в центре внимания первой находятся явленные знаки, сфера семиотики культуры предстает совокупностью так наз. “текстов культуры”, в то время как вторая занимается исключительно системами знаков, а семиотика культуры предстает системой культурных кодов. Принципиально различными представляются и возможные подходы к страху. Если в пирсовской перспективе страх может включаться в семиозис в качестве одного из компонентов, то сосюрловский подход дает возможность говорить о креативности страха, о самом страхе как специфической форме семиозиса. Грубо говоря, если в пирсовской семиотике страх вызывается страшным, то в сосюрловской — страшное создается страхом.

3. *Ситуация страха.* Как идущая от Кьеркегора и Хайдеггера философская традиция, так и психоанализ стремятся вывести страх за пределы сознания и логики, представить его порождением Ничто, глубин подсознания или коллективного бессозна-

тельного. Страх страшен и, одновременно, притягателен, причем притягательность делает его, в свою очередь, еще страшнее¹⁹. Нашей задачей является если не победа над страхом (“окончательная” победа над страхом невозможна в принципе), то примирение с ним, поиск возможностей сосуществования со страхом в этом страшном мире. На этом захватывающем фоне предлагаемая нами трактовка выглядит сугубо прозаической и, если так можно выразиться, безопасной: анализ страха не обязан быть устрашающим.

Следует подчеркнуть, что представляется совершенно очевидным, что страх обладает целым рядом положительных функций: предупредительной, сдерживающей, познавательной²⁰ и даже успокаивающей (ср. любовь Розанова к страху “с моим страхом мне не страшно”), поэтому всякие попытки его априорной деминизации представляются не слишком продуктивными. Страх становится негативным фактором лишь в тех случаях, когда он перерастает сигнальную функцию и приобретает самодовлеющий характер, заслоняет собой опасность, затрудняет адекватно ее оценить и адекватно на нее реагировать; в таких случаях страх сам становится фактором, усиливающим опасность, а подчас и главной опасностью.

Предметом рассмотрения в данном параграфе является не сам страх, взятый как переживание, а лишь феномен страха, описываемый и классифицируемый извне как *ситуация страха*. Поэтому, например, мы предпочитаем говорить не о причинах страха, но лишь о его источниках; это позволяет нам абстрагироваться не только от обсуждения психологических механизмов, но и от проблемы причинности: порождает ли некий объект страх или же сам он является порождением страха.

Источником страха является опасность; в наиболее общем виде страх может быть определен в качестве реакции на опасность. Заметим, что заранее не накладывается никаких ограничений на характер опасности, ее источник и т.п.: опасность может быть мнимая, результатом проекции внутренних характеристик субъекта вовне и т.п.; опасность, наконец, может быть

¹⁹ Амбивалентность страха — осознаваемое отталкивание от предмета страха и подсознательное влечение к нему — была выявлена уже Фрейдом (Фрейд 1991а, ср. также главы “О природе страха” и “Феноменология страха” в Левицкий 1995: 220–238).

²⁰ Ср., например, замечание Э.Фромма, что лишь благодаря смертельному страху герой Кафки смог увидеть подлинные ценности жизни (Фромм 1998: 470).

предположительной: “если я сделаю то-то, то может случиться то-то” и т.п.

3.1. *Импersonальная опасность.* Простейшая из связанных со страхом ситуаций состоит из трех компонентов: субъекта, воспринимаемой им опасности и собственно страха, как результата этого восприятия:

(2) ОПАСНОСТЬ → СУБЪЕКТ → СТРАХ²¹

Несмотря на кажущуюся элементарность, эта схема предлагает ряд вариантов, обусловленных как природой субъекта (индивид или коллектив), природой опасности, так и возникающих страхов. Первое и, вероятно, с семиотической точки зрения наиболее существенное разграничение определяется *временной соотносительностью* опасности и порождаемой ею страха:

- (а) страх, как реакция на уже произошедшее событие;
- (б) страх, предвещающий еще не произошедшее событие.

Думается, что различие это имеет фундаментальный характер; оно затрагивает не только временной фактор, но и субъективный: в случае (а) событие является, как правило, для субъекта неожиданным, в то время, как в случае (б) не только будущая опасность, но и само ее ожидание является фактором, по крайней мере потенциально служащим умножению страха. Во многих языках различие этих форм страха закреплено терминологически; так по-русски в первом случае говорится, как правило, не о страхе, а испуге. Испуг — эмоция того же типа, что и ощущение холода при соприкосновении с холодным предметом, боли от удара и т.п. — это естественная реакция на определенный

²¹ Может показаться, что существуют еще более элементарные ситуации: совершенно беспричинные страхи, страхи без опасности, например, страх ответственности и т.п. Представляется, что здесь следует различать структуру ситуации и ее вербальную формулировку. Так, страх ответственности может обозначать две принципиально различные вещи: страх перед последствиями за свои (конкретные) действия или бездеятельность и внутренний дискомфорт, испытываемый субъектом, принимающим решения, безотносительно к их результату. В первом случае мы имеем дело с обычной ситуацией типа (2), где последствия деятельности выступают в функции опасности; во втором случае сама ответственность выступает в роли опасности; возможно, что в таких случаях лучше говорить не о страхе, а о беспокойстве или тревоге. Впрочем, с точки зрения психоанализа вообще следует говорить не о беспричинных страхах, но лишь о страхах с невыявленными причинами.

раздражитель, а не результат интерпретации. Принципиально иной является природа страха — это реакция не на само событие или объект, а на те или иные предваряющие его знаки, интерпретируемые в качестве страшных или опасных. Очевидно, что семиотическая составляющая играет в механизмах страха гораздо более существенную роль, нежели в механизмах испуга; временной разрыв вообще является важным фактором в механизмах смыслообразования: “Между приращением смысла и грузом времени должна иметься существенная связь” (Рикёр 1995: 39 и след.)²².

Тем не менее, различие между испугом и страхом не должно абсолютизироваться, нередко испуг перерастает в устойчивый синдром страха, а страх редуцируется в мимолетный испуг. Следующее разграничение связано с *реальностью* угрозы. Важность его для семиотики культуры подчеркивал Ю.М.Лотман:

Рассматривая общество, делающееся жертвой массового страха, мы различаем два случая: 1. Общество находится под угрозой некоторой очевидной для всех опасности (например, “черной смерти” — эпидемии чумы, или вторжения турок в Европу). В этом случае источник опасности ясен, страх имеет “реальный” адресат, и объект, его вызывающий, один и тот же и для самой его жертвы, и для изучающего ситуацию историка. 2. Общество охвачено приступом страха, реальные причины которого от него самого скрыты (порой скрыты и от историка, который вынужден прибегать к специальным исследованиям для их выявления). В этой ситуации возникают мистифицированные, семиотически конструируемые адресаты — не угроза вызывает страх, а страх конструирует угрозу. Объект страха является социальной конструкцией, порождением семиотических кодов, с помощью которых данный социум кодирует самого себя и окружающий его мир (Лотман 1998: 63–64).

Таким образом, выделяются следующие разновидности ситуации страха:

- (с) страх, как реакция на ясную и реальную опасность;
- (d) страх, как реакция на скрытую или мнимую опасность.

Заметим, что и это различие имеет относительный характер: между страхом, так сказать, адекватным существующей угрозе, и страхами абсолютно беспричинными располагается основная масса случаев, когда источник опасности преувеличивается (по принципу “у страха глаза велики”) и мифологизируется.

²² Ср. также рассуждения М. Фуко о “полезности модуляции наказания во времени” для эффективности “знаков-препятствий” (Фуко 1999: 157–158).

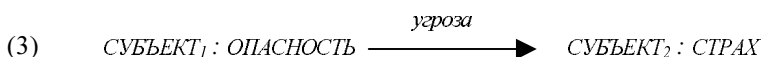
Немаловажное значение имеет и *источник опасности*. С этой точки зрения мы выделяем опять-таки два принципиально различных случая:

- (е) источник опасности находится вовне;
- (ф) источник опасности находится внутри субъекта.

Если основная масса страхов, преследующая индивидуального субъекта относится к категории (е), то коллективные фобии часто тяготеют к типу (ф). Важным частным случаем (ф) является страх проникновения внешней опасности: микробофобия, боязнь (скрытых) чужаков и двуручников-перерожденцев, теория заговора и т.п.

Обозначенные типы ситуаций нередко сочетаются; имеет смысл выделить две наиболее выраженные комбинации: с одной стороны, это (а), (с) и (е), с другой — (b), (d) и (f). Очевидно, что вторая комбинация во всех отношениях представляет больший интерес.

3.2. Персонифицированная опасность. Следующую степень сложности представляют ситуации, когда мы имеем дело с двумя субъектами и целью одного из них является запугивание другого; страх выполняет в таких случаях не только знаковую, но и коммуникативную функцию. Основное отличие от ситуаций типа (2) заключается в том, что опасность здесь имеет определенный и обычно персонифицированный источник:



Приведенная схема варьируется в зависимости от характеристик субъектов, опасности, страха и параметров угрозы и различных форм взаимодействия этих факторов. Остановимся лишь на одной из многочисленных классификационных возможностей, она связана с соотношением угрозы и опасности. Мы выделяем здесь четыре принципиальных случая:

(А) Угроза предваряет реальную и ясную опасность; например, рычание охотящегося хищника перед его нападением на жертву. Запугивание играет здесь вспомогательную роль, оно является дополнительным средством, призванным деморализовать жертву, сломить ее возможное сопротивление.

(В) Угроза отделяется от опасности и выполняет предостерегающую функцию, например, рычание собаки, охраняющей свою

территорию и т.п. Однако пренебрегший предостережением подвергается реальной опасности.

(С) Угроза, которая не может быть адекватно подкреплена возможностями угрожающего. Здесь, в свою очередь, следует различать две ситуации: блеф, когда угрожающий пользуется тем, что угрожаемый не знает его реальных возможностей, и собственно пустая угроза. В определенном смысле именно такая угроза представляет собой наиболее чистый тип, поскольку здесь угрожающ сам акт угрозы. Ср. “Ужо тебе!..” Евгения; с другой стороны, такого рода угрозы быстро девальвируются и угрожающий рискует стать посмешищем: “Вы меня не знаете, вы меня узнаете!” подпоручика Дуба.

(D) Угроза ради забавы. По своим целям этот тип угрозы прямо противоположен типу пустой угрозы: угрожаемого подстерегает не та “реальная” опасность, о которой ему сообщается, а опасность стать посмешищем.

Схема (3) ясно демонстрирует, что ситуация страха является разновидностью коммуникативной ситуации. Поэтому ситуация страха может быть описана в терминах теории речевых актов. В наиболее простом случае *СУБЪЕКТ*₁ ставит перед собой цель вызвать страх у *СУБЪЕКТА*₂, для реализации которой он формирует угрозу, следствием которой и является страх. В этом случае страх является перлокутивным актом, следствием иллокутивной силы, заложенной в угрозе. Следует особо подчеркнуть, что даже в этом примитивном примере (иллокутивная) сила угрозы вовсе не обязательно является автоматическим следствием силы (реальной) опасности; здесь важен целый ряд дополнительных факторов: статус угрожающего, его репутация, формулировка угрозы и т.п. С другой стороны, возможен целый ряд более сложных случаев, когда угроза либо является нежелательным побочным продуктом высказывания, либо, напротив, носит скрытый характер (в таких случаях можно говорить об угрозе как о косвенном речевом акте) и т.п.

3.3. Передатчики страха. Число участников ситуации страха в принципе безгранично, особую роль играют посредники. Их значение особенно велико в тех ситуациях, когда они являются, одновременно, и напуганными адресатами угрозы, и средством ее распространения. Любопытно, что в философском подходе к страху преобладают индивидуалистические мотивы; интерактивная сущность страха является предметом социологических шту-

дий (ср. Канетти 1990, Хоффер 2001 и др.). В массе страхи многократно усиливаются, возникает своего рода эффект слабого звена: монолитная толпа охвачена страхом в той мере, в какой бояться ее наиболее пугливые члены (это знают подлинники любители фильмов ужаса: их нужно смотреть в заполненном зале, где страх физически заполняет пространство — он проходит волнами по рядам и чей-то произвольно вырвавшийся крик запускает цепную реакцию восклицаний и взвизгов).

Важную роль играет коммуникативное пространство страха и используемые для его распространения каналы связи. Страх (как и ненависть) вовсе не безразличен к средствам, которыми он распространяется: то, что так действенно в слухах, граффити, листовках и т.п., будучи помещенным в книгу теряет значительную часть своей эффективности. Так, социологические опросы в России 1990-х годов (до московских взрывов и начала второй чеченской войны) свидетельствуют, что свыше 50% респондентов высказывали в той или иной мере негативное отношение к чеченцам, свыше 40% — к цыганам, порядка 30–40% — к другим народам Кавказа и лишь порядка 10% — к евреям (правда, среди респондентов из КПРФ этот показатель поднимается до 18%; Гудков 1999, табл. 2 и 6). Если отношение к чеченцам в какой-то мере объяснимо актами насилия и их освещением в средствах массовой информации, то фобии, вызываемые цыганами, азербайджанцами или армянами подпитываются исключительно слухами, распространяемыми преимущественно вокруг рынков. Никакой антицыганской, антиармянской или антидагестанской литературы в России нет. Напротив, постоянно растущая антисемитская литература не имеет практически никакого влияния на настроения масс (по социологическим данным сознательными антисемитами стабильно считает себя лишь около 6% населения).

В последнее время все более активной средой распространения фобий становится интернет; вероятно в скором времени он займет в этом смысле доминирующее положение.

Литература

- Бенвенист, Э. 1974. *Общая лингвистика*. Москва: Прогресс.
- Гудков, Л. 1999. Антисемитизм в постсоветской России. In: Витковская, Г.; Малащенко, А. (ред.), *Нетерпимость в России: старые и новые фобии*. Москва: Московский Центр Карнеги, 44–98.
- Гуревич, П. С. (сост.) 1998. *Страх. Антология*. Москва: Алетейа.
- Канетти, Э. 1990. Масса и власть. In: *Человек нашего столетия*. Москва: Прогресс, 392–443.
- Кьеркегор, С. 1998. Понятие страха. In: *Страх и трепет*. Москва: Республика, 115–248.
- Леви-Брюль, Л. 1930. *Первобытное мышление*. Москва.
- Левитский, С. А. 1995 [1958]. *Трагедия свободы. Сочинения. Том 1*. Москва: Канон.
- Лотман, Ю. М. 1970. О семиотике понятий “стыд” и “страх” в механизме культуры. *Тезисы докладов IV Летней школы по вторичным моделирующим системам, 17–24 августа 1970 г.* Тарту: Тартуский государственный университет, 98–101.
- 1998. Охота за ведьмами. Семиотика страха. *Sign Systems Studies [Труды по знаковым системам]* 26: 61–82.
- Моррис, Ч. У. 1983. Знаки и действия. In: Степанов, Ю. (ред.), *Семиотика*. Москва: Радуга, 118–132.
- Пирс, Ч. С. 2000. *Избранные философские произведения*. Москва: ЛОГОС.
- Рикёр, П. 1995. *Конфликт интерпретаций. Очерки по герменевтике*. Москва: Медиум.
- Руднев, В. П. 1999а. Психотический дискурс. *Логос* 3 (13): 113–132.
- 1999б. Шизофренический дискурс. *Логос* 4 (14).
- 1999в. Смысл как травма: психоанализ и философия текста. *Логос* 5 (15): 155–169.
- Соссюр, Ф. де 1977. *Труды по языкознанию*. Москва: Прогресс.
- Тимофеев, М. А. (ред.) 1996. *Демонология эпохи Возрождения*. Москва: РОССПЭН.
- Фреге, Г. 1997. Смысл и значение. In: *Избранные работы*. Москва: Дом интеллектуальной книги, 25–49.
- Фрейд, З. 1991. *Толкование сновидений*. Ереван.
- 1991а. “Я” и “Оно”. *Труды разных лет. Книга 1*. Тбилиси.
- Фромм, Э. 1998. Забытый язык. Введение в понимание снов, волшебных сказок и мифов. *Душа человека*. Москва: АСТ, 283–470.
- Фуко, М. 1999. *Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы*. Москва: Ad Marginem.
- Хайдеггер, М. 1993. *Время и бытие. Статьи и выступления*. Москва: Республика.
- Хоффер, Э. 2001. *Истинноверующий. Мысли о природе массовых движений*. Минск: Издательство Европейского гуманитарного университета.
- Peirce, Charles S. 1965–1967. *Collected Papers*. Vol. 1–8. Cambridge: Harvard University Press.

Pelc, Jerzy 1986. Iconicity. Iconic Signs or Iconic Uses of Signs? In: Bouissac, Paul; Posner, Roland; Herzfeld, M. (eds.), *Iconicity: Essays on the Nature of Culture. Festschrift for Thomas A. Sebeok on his 65th birthday*. (Problems in Semiotics 4.) Tübingen: Stauffenburg-Verlag, 7–16.

Kultuurisemiootika ja hirmu fenomenoloogia

Artiklis käsitletakse hirmu kui semiootilist fenomeni. Hirmu semiootiline eripära seisneb selles, et olles tugev semiootiline faktor, jääb selle semiootiline loomus tihti varju ning hirmu käsitletakse lähtudes skeemist stiimulreaktsioon. Artiklis analüüsitakse hirmu nii Peirce'i semiootika kui ka Saussure'i semioloogia kontekstis ning näidatakse, et need lähenemised lubavad hirmu puhul avada erinevaid tahke: kui Peirce'ilikus perspektiivis hirmus tekitab hirmu, siis lähtudes Saussure'i lähenemisest võiks öelda, et hirm loob hirmsa, hirm osutub kreatiivseks, võiks isegi rääkida hirmust kui semioosisest.